

Ржевский Л.Д. Творческое слово у Солженицына // Новый журн. Нью-Йорк, 1969. № 96. С. 76–90

## ТВОРЧЕСКОЕ СЛОВО У СОЛЖЕНИЦЫНА

### 1

В мартовском номере журнала “Октябрь” за этот год встретила одна заметка с почти паническим заголовком — “Пока не поздно”.

Автора заметки, оказывается, волнует то, что в новой советской Энциклопедии, которая готовится, некоторым писателям, творившим в стороне от партийного заказа, будет уделено слишком много внимания. Так, творчеству А. Солженицына, например, предположено отвести столько же строк, сколько и писателю Петру Павленко. Как это возможно — посвятить равного размера статьи Павленко и Солженицыну, который “... снискал себе незавидную славу автора произведений, направленных против... дорогих для нас принципов советской литературы!”

Петр Павленко был талантливым прозаиком партийной ориентации, то-есть, значит, наряду с творчески подлинным (повесть “Степное солнце”, например), во многом следовал дорогам для автора заметки принципам советской литературы. Это у него в романе “Счастье” внешность Иосифа Сталина изображена так: — “Лицо Сталина не могло не измениться и не стать иным, потому что народ глядел в него, как в зеркало, и видел в нем себя, а народ изменился в сторону еще большей величавости....”

Автор заметки категоричен, к дискуссии не зовет и вполне очевидно хотел бы походя снизить в глазах читателей писательскую значимость солженицынского творчества.

Оно, это творчество, по самому явлению своему необычно и ошеломительно; этим, может быть, и объясняется то, что даже и здесь, за рубежом, случается иной раз слышать неуверенное: “Думаете вы, что мастерство Солженицына на самом деле так уж необыкновенно?”

Сделаю попытку ответить на этот вопрос, опираясь, глав-

ным образом, на особенности самой повествовательно-речевой манеры автора.

Мастерство писателя начинается с его языка. Чуть забегаю вперед, скажу, что в части языка Солженицына несомненно новатор. Новаторство его состоит в стремлении оживить современный русский литературный язык свежестью и богатством народного речеупотребления; застывшую в этом языке книжность и безжизненность растопить живым разговорным обычаем, в основе которого лежала бы искренность и непосредственность речевого сознания. Словарь и склад народной речи — утверждал он в статье “Не обычай дегтем щи белить, на то сметана”, напечатанной в “Литературной газете” № 131 за 1964 год, — “дает нам еще не оскудевший источник напоить, освежить и воскресить наши строки”. И позже, в одном интервью: — “Я убежден, что в нашей литературе богатства русского языка используются недостаточно”, — сказал он.

Щедрые заимствования из словаря Даля, с которыми мы встречаемся в произведениях Солженицына, и есть одно из проявлений этого обновленческого стремления.

Опыты обогащения литературного словоупотребления речевыми из временного и бытового далёка нельзя расценивать “огулом”, как это иногда делают критики по ту и по эту сторону отечественного рубежа. Бесчисленные речевые шаблоны, это подлинные мумии литературного языка, запечатленного творческой несвободой, гораздо в большей мере, чем архаизмы, оказываются “словесными окаменелостями” (заимствую этот термин из статьи в “Литературной газете” от 9-го июля текущего года).

Возвращенное из словарного архива слово, становясь рядышком со своими современными синонимическими собратьями, может казаться ненужным, если решительно ничего к их семантико-функциональному наполнению не добавляет; но может, напротив, выгодно выделиться некой трудно определенной, но отчетливой новизной своего внутреннего смыслового и экспрессивно-звукового облика.

Так, вряд ли удачны солженицынские взятые у Даля: *навытередки* вместо “наперегонки”; *обоннуться* в значении “упорствовать”: “Грачиков обоннулся на своем...” (“Для пользы дела”); *переклохнуться* (через стол) вместо “перегнуться”; *погремливая* вместо “повзвывивая”, “погромыхивая”, “погроха-

тывая”: “И пошла, погремливая ведром” (“Для пользы дела”); *прихотник*: “...он понимал роль руководителя не как капризного прихотника” (там же).

Но, например, *застыдчивость* не доходчивее ли “застенчивости” и не содержит ли (как и сам корень *стыд* в сравнении со *стен*) больше экспрессии и смысловой полноты? Или *вбирчивый*, *вбирчиво*: “слушал вбирчиво”, “вбирчиво ими (запахами леса. Л. Р.) дышал” — не свежее ли привычных “внимательно” или “жадно”?

Далее: *грево* — тепло: “...ветрами выдувало из нее печное грево” (“Матр. двор”); *толпошиться* — толочься; *хвалословить* — славословить; *впрохолость* (жить) — холостяком; *оклычиться* — оскалиться; *дождь-проливняк*; *дождь-косохлёт*; *рубезочки* — тесемки, завязки; *нылая* боль; *завойчатые* волосы; *безразумная* служба; формы вроде: *убраживая*: “убраживая в снегу”: *приючала*: “...она приючала их у себя и помогала” (“В круге первом”); фразеологическое: “*поконец рук*”: “Топили-то поконец рук” (т.-е. плохо. Л. Р.); *клевнить сердце*: “...выползали вяземское и волоколамское направления и клеvнили сердце” (“Случай на ст. Кр.”) и многое другое, взятое у Даля в поисках “освежения и воскрешения строк”.

Другими источниками воскрешения оказываются “подслушанное” автором в живом разговорном быту и словотворческое “свое”. Это иной раз (как когда-то и у Лескова) не так уж легко различить: и подслушанное, и свое сходны поисками нового. Поиски часто экспериментальны, то-есть, значит, хотя бы и в отдельных только случаях, обречены на неудачу.

Как и в использовании Далевского словаря, здесь у Солженицына встречается кое-что спорное. Вряд ли, например, *перетеребливая* лучше, чем “перебирая”: “Перетеребливая в уме... десятки жизненных важностей” (“Для пользы дела”) — “перебирая” прочно закреплено фразеологическим употреблением; нехорошо *сдрогнула* в значении “сошла”, “сползла”, “исчезла” в фразе из того же рассказа: “И вдруг сдрогнула с его лица вся грозность и обернулась сочувственной улыбкой”. Вряд ли доходчиво *вразнокал*: “Их шинели и шапки были только слегка примочены, вразнокал” (“Сл. на ст. Кр.”); неудачны некоторые сложные новообразования (так наз. “компози́та”): наряду с *чустошумящей* веткой, *волосатомордой* собакой, *розовополосчатой* пижамой, встречаем: *злонаходчивый* забор и *чудомудрый*

пиджак (“Для пользы дела”). Перечень неубедительного можно было бы продолжить, но — какое же огромное количество совершенных и поражающих удач увенчивают поиски Солженицына! Чего стоит богатейший словарь лагерного просторечия, представленный уже в первой его повести!

В последующих вещах удач не меньше. Великолепно, напр., *одержимец* (в значении “фанатик”), придуманное автобиографичным в отношении языка персонажем (“В круге первом”). Затем: *на цырлах* (на цыпочках): “...на цырлах понес его (кресло. Л. Р.) к генералу”; *раскучорить* (ограбить, лишить своего имущества), *солдями* (солдата); “маленькие *кванты* капи”; *недокурок*, *злодеята*, *гадство*, *пожуркивать*: “...опять пожуркивала вода в трубе” (“Случай на ст. Кр.”), *невподым*: “таскали мешки невподым”; пушкинского примера образования *лие* и *хлёт*: “Так он стоял под лив, хлёт, толчки ветра под окнами” (“Случай на ст. Кр.”); *туск*: “...какой-то безжизненный туск наплыл на них (глаза. Л. Р.; “В круге первом”).

Народность речевой ориентации одушевляет целый ряд префиксальных и суффиксальных образований, сообщая им в той или иной степени экспрессию и тепло разговорной непосредственности, необычные в традиционной структуре “нейтральной” от-авторской речи: *расстариваться*, *взмарщиваться*, *испереполошиться*, *изнахамиться*, *страшок*, *юленькая* и пр.

От разговорной же непосредственности, вероятно, и различная по своей природе выразительность таких, например, определенных сочетаний, как: *доконечная точность*; *передыханный воздух*; *стомивший с ног поцелуй*; *разляпистый нос*; *чутконосый* (стукач); *толстомордый здоровяга* (о трактористе) и т. п.

Разговорно-просторечна в от-авторском сообщении и фразеология: “*Здоровый, раскормленный волк*, он был просто кладовщик и ларечник продпункта, но *держался на четыре шталь*”. (“Случай на ст. Кр.”); “...сохранил интерес... к судьбе того учения, которому *заклал свою жизнь*” (“В круге первом”).

Отдельные словечки-носители разговорной экспрессии как бы определяют иной раз семантико-стилевой строй высказывания в целом:

“Какое счастье, что здесь ничего нельзя построить! — ни кондитерского небоскреба втиснуть на Невский, ни пятиэтажную коробку *слитить* у канала Грибоедова” (“Город на Неве”).

Или: — “Милей мне не приглянулось во всей деревне: две-три ивы, избушка *перекособоченная...*” (“Матр. двор”).

Функциональная выразительность таких образований часто особенно очевидна при передаче душевной экспрессии. Например: — “Зотов представил себе Саморукова — и в нем *забулькало...*” — “Павла Николаевича *защипало*, и понял он, что совсем отмахнуться от смерти не выходит” (“Рак. корп.”). Или — в описании радостного настроения персонажа: — “В груди у него так и *переполаскивало*”. (“Рак. корпус”).

Экспрессивно-разговорные находки рассыпаны и в диалогической речи: “... нет в войне *ни хрёнышка хорошего!*” — говорит Нержин (“В круге первом”), а в “Раковом корпусе” только что приведенный в палату больной Чалый восхищается, разглядывая полную санитарку: — “Какая девка *посадочная!*”



Синтаксическая сторона повествования у Солженицына очень подчинена стремлению к разговорной непосредственности и простоте сообщения. Подчеркнутость и внутренняя динамика этой простоты напоминает иногда Пришвина:

“...Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу.

Подбежав ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал — и прочь опять, брюхом по снегу!

Не надо мне, мол, ваших костей — дайте только свободу!” (“Шарик”).

От пришвинской, однако, фразу Солженицына отличает синкретичность ее стилового облика: с разговорным словоотбором сочетается разговорный же тип и порядок синтагм. Вот, например, из “Ракового корпуса”:

“Но сегодня ему была нехоть смертная открывать рот, а приудобился он читать эту тихую спокойную книгу”. Или: — “Он так ухо приклонял, чтобы гордости не уцербнуть — слушал вбирчиво, а вроде не очень это ему и нужно”.



Установка на устность дает возможность Солженицыну создать свою собственную повествовательно-речевую стилевую

структуру особой разговорно-доверительной тональности, необычно доходчивой и подкупающей. Вот строки, рисующие героя повести “Раковый корпус”:

“На солнечном пригреве, на камне, ниже садовой скамейки сидел Костоготов, ноги в сапогах неудобно подвернув, коленями у самой земли. И руки свесил плетью до земли же. И голову без шапки уронил. И так сидел и грелся в сером халате, уже наотмашь — сам неподвижный и формы обломистой, как этот серый камень. Раскалило ему черноволосую голову и напекло в спину, а он сидел, не шевелясь, принимая мартовское тепло — ничего не делая, ни о чем не думая. Он бессмысленно-долго мог так сидеть, добирая в солнечном грее то, что не дадено ему было прежде в хлебе и супе”.

Об одном из больных автор рассказывает так:

“А заболел у Ефрема язык — поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся... Клялся в том, чего не делал. Распинался чему не верил... И укрючливо матюгался, подцепляя что святей и дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И алекдоты выкладывал жирнозадые, только всегда без политики. И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернется через неделю и будут дом строить...”

Таким говорком продолжается и дальше тема о Ефреме Поддудеве, который “в тринадцать лет скакал, из нагана стрелял, а к пятидесяти всю, всю страну, как бабү, перещупал”, а теперь умирает от рака, и “ничуть ему не становилось ясней, чем же надо встречать смерть”.

Тяга к такому разговорно-доверительному складу речи, иногда почти сказово-интонационной напевности, — и в более ранних вещах Солженицына. Вот, если двинуться от “Ракового корпуса” хронологически вспять, то, например, в рассказе “Захар-Калита” читаем о Куликовской битве: — “...вдыхай дикий воздух, оглядывайся и видь! — как по восходу солнца спшибаются Телебей с Пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясет копытами и с перекошенными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро — и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча встала от Непрядвы до Дона”.

В миниатюре “Озеро Сегден”: — “Озеро в небо смотрит,

небо — в озеро. И есть ли еще что на земле — неведомо, поверх леса — не видно. А если что и есть — оно сюда не нужно, лишнее”.

А вот из рассказа “Матренин двор”, где, если внимательно прислушаться, легко различить влетающие в речь рассказчица интонации самой Матрены — символического образа забытой и пренебреженной народной души: — “Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша”.

В своей первой повести — “Один день Ивана Денисовича” Солженицын совершенно растворяет себя в говорке простого лагерного работяги. Потому, конечно, что без такого речевого перевоплощения интеллигента в колхозника скрытый заключенный в этой повести протест не прошел бы через цензуру; но и потому, что автор ищет искренней и безыскусственной речевой формы, отвечающей правде, о которой необходимо рассказать. Обращения к сказовым интонациям здесь постоянны.<sup>1</sup>



Предвижу сомнение: “Пусть мастерство писательской речевой манеры бесспорно. Но разве язык — это всё? А другие слабые произведения — композиция? пейзаж? быт? герой? авторское самораскрытие?...”

Сомнение, конечно, законное. Но все-таки: если в литературном произведении *как* что-либо изображено или сказано — есть самое главное, то ведь за этим *как* и стоит именно язык, творческое слово! Не слово-фокусничество, не механическое слово изобретателей машинного речесложения, не слово-шаблон, умерщвленное дидактическим замыслом, но слово *животрепещущее*, — слово, в котором живет душа!

“Животрепещущее” — это из Гоголя. Он когда-то писал патристически: “Нет слова, которое... так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово”.

Такого вот животрепещущего и “прямо из-под сердца” сло-

<sup>1</sup> Интересующихся отсылаю к своей статье «Образ рассказчика в повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (Сборник Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of Boris O. Unbegaun. New York University Press, 1968).

ва и ищет Солженицын, чтобы сказать свою правду, к которой, как писал Каверин, “есть у него могучее стремление”.

Ищет и, кажется мне, находит. И поэтому о чем бы ни взялся он рассказывать — о странной ли блаженной Матрене или о том, как молодой человек, совсем неплохой, но отравленный гипнозом обязательного доносительства, предает другого, ни в чем не повинного, человека, или о том, как перед лицом близкой смерти ищут люди оправдания пройденному пути, — рассказывает он обо всем этом искренне и творчески убедительно, оказываясь мастером не только языка, но творческой формы в целом.

“The writer as Russia’s Conscience” — “Писатель как совесть России” — назвал свою статью о Солженицыне критик Аркадий Белинков.<sup>2</sup> Как совесть современной русской литературы — во всяком случае!

Когда-то Евгений Замятин обронил невеселое пророчество: “У русской литературы одно только будущее — ее прошлое”.

В творчестве Солженицына эта литература свое будущее находит снова....

2

Теперь, в подкрепление сказанного — о двух самых крупных вещах Солженицына.

“В круге первом” в познавательном отношении, вероятно, значительнейшая его книга (из числа нам известных). Уже само заглавие, относящее нас к Дантову “Аду”, раскрывает тему: “мучители и мучимые”, “тюремщики и жертвы”. Эта тема и связывает воедино довольно сложную структуру романа — “полифоническую”, как, вероятно, назвал бы ее сам Солженицын.

Связывает эту структуру, можно было бы сказать, и горечь несправедливости, ощущаемой автором, который “круг первый” пережил на собственной судьбе; переживал, вероятно, и в процессе творчества, потому что ведь круг этот существовать продолжает...

Горечь переходит в *шев*, рождающий сатирические акценты в изображении тюремщиков разного типа и ранга. Не случаен, разумеется, выбор иных фамилий — “Сатаневич”, например, данной одному докладчику-партийцу “с книжечкой английских идиом” (“Врага надо знать” — объяснял он) или фамилии цензора и критика: Жабов! Не случаен и такой нажим в описа-

<sup>2</sup> «Тайм», 27 сентября 1968 года.

нии одного из надсмотрщиков “шарашки”, майора Шикина: — “...какая гадкая сероволосая поседевшая над анализом доносов *вошь* — этот майор Шикин, как идиотски ничтожны его знания, какой кретинизм все его предположения”.

Отсюда же — ирония, возникающая в романе там и здесь. Она, например, — в буффонаде Рубина о князе Игоре, который “...совершил гнусную измену Родине, соединенную с диверсией, шпионажем и... преступным сотрудничеством с половецким ханством”. Или — в осуждении официальной антиамериканской пропаганды: — “И еще была книга на табуретке — “Американские рассказы” прогрессивных писателей... удивителен был их подбор: в каждом рассказе была обязательно какая-то гадость об Америке. Ядносно собранные вместе, они составляли такую кошмарную картину, что можно было только удивляться, как американцы еще не разбежались и не перевешались”.

Или вот из разговоров обитателей “шарашки”: — “Когда наши будут начинать первый полет на Луну, то перед стартом, около ракеты, будет, конечно, митинг... Из трех членов экипажа один будет политрук”, — говорит один из заключенных.

А другой, подбегая: — “Илья Терентьич! Я могу вас успокоить. Будет не так... Первыми на Луну полетят американцы!”

Иные места такого рода нужно, вероятно, отнести и не к чертам сатиры, но — к живой экспрессии пережитого в ее творческом выражении. Так, например, совсем не иронией, но убежденностью и простой констатацией правды, звучит, скажем, такая характеристика страшного министра Абакумова: — “...от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову”.

В создании образов верховных мучителей экспрессия пережитого была, видимо, самой органической для Солженицына — тут ему удалось подлинные шедевры: главы “Юбиляр” и три последующие, то-есть главы, где изображен дряхлеющий Сталин, когда в бессонную ночь он принимает у себя своих подручных, — эти главы, как мне кажется, лучшие в романе. И уж, конечно, — лучшее из всего, что было в этой тематике после Октября написано.

Солженицын рисует среду, питающую разного чина тюремщиков, — новый класс! Природа “первого круга”, однако, та-

кова, что и привилегированные не уверены, что завтра не станут жертвами тоже, и ощущают всю унижительность такой неуверенности.

“Мы ходим все, пригнувшись до земли,  
Мы прячемся, боясь чужого взора!”

Это — из Петёфи, венгерского поэта.

А у Солженицына государственный советник второго ранга Володин, размышляя о жизни, спрашивает себя: — “Чего-то всегда остерегаясь, остаемся ли мы людьми?”

Этот Володин на первой же странице книги открывает одну из важнейших внутренних тем романа и, может быть, всего творчества Солженицына в целом — тему *совести*: он предупреждает знакомого профессора о том, что тому грозит провокация со стороны МГБ. Володин знает, чем рискует, идя на такой шаг, но в этом подполковнике дипломатической службы совесть еще жива. Она же, вероятно, позволяет ему в разговоре с известным советским литератором высказать такую мысль о роли писателя: — “...Большой писатель в стране — это... как бы второе правительство. И поэтому никакой режим никогда не любил больших писателей, а только маленьких”.

Еще сильнее звучит тема совести в образах жертв. Совесть мешает самому молодому из узников “шарашки” Руське Дорониному заниматься доносительством на товарищей, и он открывает им технику вербовки и оплаты стукачей. Это несмотря на то, что: “...всё поколение Руськино приучили считать “жалость” чувством унижительным, “доброту” — смешным, “совесть” — выраженном поповским”.

Эта же совесть мучит партийца-заключенного Рубина.

Эта же совесть, которая, по Солженицыну, есть требование справедливости, делает бесправных и униженных людей бесстрашными и свободными внутренней духовной свободой. Математик Нержин, например, отказывается работать в “семерке” и за это выписан в лагерь. Инженер Бобынин бросает в лицо министру: “Я вам нужен, а вы мне нет... Человек, у которого вы отобрали всё — уже не подвластен вам, он слова свободен”. А другой инженер — Герасимович — отказывается конструировать особый “сыскной” фотоаппарат: “Чтобы, значит, ночью вот на улице сфотографировать человека, а он бы и до смерти не знал”. Отказывается, несмотря на то, что за

удачу его ждет освобождение: “Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности”, — говорит он.

Много подлинного гуманизма в этой солженицынской вере в человека. И просто любви к человеку — в ряде картин и эпизодов из быта “шарашки”. Чего стоит хотя бы глава “Поцелуи запрещаются” — о свидании заключенных с женами! Или — описание ёлки, устроенной узниками. Задумчивость и убедительность солженицынской речевой манеры, о которых выше шла речь, представлены здесь в самом отборе простых и сильных слов и выражений, найденных для передачи внутреннего трагизма картины:

“...завтра-послезавтра ёлку поставят в полукруглой комнате; арестанты — отцы, без детей своих сами превратившиеся в детей, обвесят ее игрушками... возьмутся в круг, усатые, бородатые, и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:

В лесу родилась ёлочка,  
В лесу она росла...”



“В круге первом” — действительно беспощадное отрицание сталинизма!

В 1964 году журнал “Новый мир” заключил с Солженицыным договор на эту книгу. Договор осуществлен не был. Мудрено ли?

Ведь заглавие “В круге первом” относится отнюдь не только к происходящему за колючей проволокой или тюремной стеной, — явление, которое творчески им охвачено, шире.

И если обозначить это заглавие одними начальными буквами, то — случайно ли или символически — получается: — *ВКП!*



“Раковый корпус” — творчески более выразительная и монолитная вещь Солженицына. Потому, вероятно, что она больше, чем “В круге первом”, автобиографична, “проникнута” обликом рассказчика. Причем этот облик рассказчика возникает в нашем представлении не только как облик живописателя-правдолюбца, но и отчасти *лирического героя*, который говорит о справедливости, но и — о любви: к жизни, к женщи-

не, к родному краю, небу, деревьям... В книге довольно много пейзажа и той экспрессии лирического выражения, которая сообщает повествованию такую творческую убедительность и теплоту. Попутно сказать: уж если из двух больших вещей Солженицына одну какую-нибудь называть романом, так уж, конечно, “Раковый корпус”, а не “В круге первом”, как это стоит в наших эдешних изданиях...

В “Раковом корпусе” мастерство Солженицына предстает перед нами главным образом как мастерство психологического портрета и передачи душевной экспрессии действующих лиц. Солженицын по-толстовски пользуется внутренним монологом, но и — ярким экспрессионистским штрихом-впечатлением, выражающим движение души.

Поэтому многие образы персонажей в этой повести — отчетливее и пластичнее, чем образы заключенных “шарашки”. Поэтому так много здесь запоминается, и сквозного, и эпизодического. Из сквозного — образ Павла Русанова, например. Из фрагментарного, но частого и сильного — черты человеческого отчаяния перед надвигающейся смертью либо скальпелем, — например, небольшая сценка, когда семнадцатилетняя девочка просит паренька Дёмку поцеловать ей грудь, которую завтра должны отрезать: “Ты будешь помнить? Ты будешь помнить, что она была? И — какая была?...”

Любители сопоставлений, говоря о “Раковом корпусе”, вспоминают непременно толстовскую “Смерть Ивана Ильича”. Да, конечно, есть сюжетное, ситуационное сходство. Кажется заманчивым сблизить, например, рассуждения двух:

Ивана Ильича: — “И Кай точно, смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно”.

И Русанова: — “...поскольку все люди смертны — когда-нибудь должен сдать дела и он. *Но когда-нибудь*, но не сейчас же! *Когда-нибудь* не страшно умереть — страшно умереть вот сейчас. Почему? Потому что: а как же? а дальше что? А без меня как же?”

Но различия больше, чем сходства.

В отличие от Ивана Ильича, которого Толстой заставляет в чем-то перед смертью виниться, Русанов глубоко убежден в правильности и полноценности своей особы и своего пути. Это

чрезвычайно интересный у Солженицына образ. И удавшийся. И типический — недаром так нападают на него идейные противники автора. Русанов — это чеховский “человек в футляре” новой, послеоктябрьской формации; учитель Беликов, но с Домостроем партийных догм и поведения подмышкой. У него та же, что и у Беликова, бдительность и склонность к доносителю, только, увы! в значительной степени больше поддержанная благоприятствующей обстановкой.

Беликов был непоколебимо убежден в величии древнегреческого языка и, поднимая палец и прищуриваясь, произносил многозначительно: “Антропос!”

И так же убежденно, лакомясь куриным стегнышком, Русанов отвечает на вопрос Ефрема Поддуева, которому попал в руки рассказ Толстого:

“ — Чем люди живы?...”

— А в этом и сомнения быть не может. Запомните. Люди живут идейностью и общественными интересами”.

Здесь — одна из важнейших, вероятно, внутренних тем повести. Тема исповедническая. Тема авторского самораскрытия.

Развернута она в трех-параллельной экспозиции — образах: Русанова, Ефима Поддуева, который болен раком языка, и старого партийца с 17-го года Шулубина.

Русанов представляет собой, как уже говорилось, некий эталон партийной ограниченности — из его обихода слова *любовь, милосердие* вычеркнуты раз и навсегда.

Ефрем только перед лицом подступившей вплотную смерти задумывается над проблемой: ненависть или любовь? — как миллионы других, он просто миновал ее в жизни в погоне за “хлебом единым”.

Шулубин давно уже эту альтернативу решил отрицательно для ненависти, но не нашел в себе смелости сказать преступлению “нет”, принудив сам себя к спасительному молчанию: “Я двадцать пять лет молчал, — говорит он, — то молчал для жены, то молчал для детей, то молчал для грешного своего тела”...

И он мучается. Уже умирающий, в полубреду, шепчет об “осколочке” — о чем-то неистребимом, что со счастьем всё еще ощущает в себе, — об “осколочке мирового духа”, как он говорит.

“Осколочек” этот, — покаяние, — извечная, может быть, черта русской души, еще былинная, от Васьки Буслаева:

“Смолоду было много бито-граблено,  
Под старость надо душу спасти!”

“Осколочек” — совесть. Как и “В круге первом”, Солженицын в “Раковом корпусе” поднимает все ту же проблему *вины*, — проблему, которая и делает его творчество *совестью русской литературы*, определяя его собственное и исключительное среди современных русских писателей место.



Снова возвращаясь к языку Солженицына, скажу, что свежесть и своеобразие творческого его слова и речевой манеры — не просто *черты*, но важнейшие структурные элементы его поэтики, формирующие его мастерство в целом. Передает ли он расхождение, рисует ли пейзаж, вводит ли нас в душевный мир своего героя — всюду чувствуем мы силу и искренность этого художнического мастерства.

Одна-две цитаты из “Ракового корпуса”, без комментариев, могли бы, мне кажется, служить подтверждением сказанного.

Вот как изложены мысли (Шулубина) о социализме: — “Это только заявка, что не будет рубки голов, но ни слова — на чем же социализм этот будет строиться. И не на избытке товаров можно построить социализм, потому что если люди будут буйволами — растопчут они и эти товары. И не тот социализм, который не устает повторять о ненависти — потому что не может строиться общественная жизнь на ненависти. А кто из года в год пламенел ненавистью, не может с какого-то дня сказать: шабаш! с сегодняшнего дня я отненавидел и теперь только люблю. Нет, ненавистником он и останется, найдет кого ненавидеть поближе...”

И еще цитата — из последних глав, где рассказывается, как Костоготов покидает клинику. Это одно из лучших мест по мастерству — яркости пейзажа, лиризму, который пронизывает и этот пейзаж, и передачу душевного состояния человека, дожившего до весны, до которой он дожить не надеялся: “Он (Костоготов. Л. Р.) выступил на крылечко и остановился. Он вздохнул — это был молодой воздух, еще ничем не всколыхнутый, не замутненный! Он взглянул — это был молодой зеленющий мир! Он поднял голову выше — небо развертывалось



розовым от вставшего где-то солнца. Он поднял голову еще выше — веретёна перистых облаков кропотливой, многовековой выделки были вытянуты через все небо — лишь на несколько минут, лишь пока расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть — для одного Олега Костоглова во всем городе.

А через вырезку, кружева, перышки, пену этих облаков — плыла еще хорошо видная, сверкающая, фигурная ладья ущербленного месяца.

Это было утро творения! Мир сотворился снова для одного того, чтобы вернуться Олегу: Иди! Живи!

И только зеркальная чистая луна была — не молодая, не та, что ответит влюбленным.

И — лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому — небу и деревьям, в той ранневесенней, раннеутренней радости, которая вливается и в стариков, и в больных, Олег пошел по знакомым аллеям...

...Олег шел по солнечной стороне около площади, шурился и улыбался солнцу. Еще много радостей ожидало его сегодня...

Это было солнце той весны, до которой он не рассчитывал дожить. И хотя вокруг него никто не радовался возврату Олега в жизнь, никто даже не знал — но солнце-то знало, и Олег ему улыбался...

...Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, проращенная лагерями и ссылками?

...А близ трамвайной остановки опять продавали фиалки...”<sup>3</sup>

*Л. Ржевский*

---

<sup>3</sup> Заключительные три абзаца взяты с различных страниц, образуя монтаж, оправдываемый только ограниченным размером этой статьи. *Л. Р.*